

Екатерина Мордвинцева

**УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ СБОР.
ХМЕЛЬ ДЛЯ ЛЮТОГО**

УДК 82-3
ББК 84-4
М79

М79 **Мордвинцева Е.**
Успокоительный сбор. Хмель для лютого / Екатерина Мордвинцева – М.:
Литнет, 2026. – 212 с.

ISBN 978-5-524-00470-3

Я приехала к отцу на три дня. Через неделю меня выдали замуж за его убийцу-партнера. Он говорит, что я — его хмель. Горький, колючий, пьянящий. Я говорю, что он — мой кошмар. Но когда я пытаюсь сбежать, он ловит меня и шепчет: «Беги еще. Мне нравится, как ты оставляешь себя на моей территории».



Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436 - ФЗ.

ISBN 978-5-524-00470-3

© Литнет, 2026
© Е. Мордвинцева, 2026

Пролог

Я пахну смертью. И хмелем. И сейчас эти два запаха для меня одно и то же...

Ночь не хотела быть черной.

Она выгорела до пепельного, до мертвенно-белесого оттенка, потому что склад полыхал так, будто сам ад решил открыть здесь свое представительство с кадровыми скидками для особо доверенных грешников. Я стоял в двадцати семи метрах от того места, где еще три часа назад покоились полторы тонны хмелевых шишек – особый сорт, горький до спазма в челюсти, дикий, выведенный на стыке генной инженерии и старых монастырских рецептов. Каждая шишка пахла мускатом, апельсиновой цедрой и тем самым грехом, который нельзя купить за деньги – только украсть у природы.

Мы везли их под видом декоративных растений для ландшафтного дизайна элитных коттеджей. Три контейнера, маркировка «Хмель декоративный, неприщипываемый». На деле – прикрытие для кокаина из Перу, чистейшего, как слеза девственницы, если бы девственницы вообще плакали чем-то кроме розовой воды из романов восемнадцатого века. Красиво, правда? Наркота под видом хмеля. Поэзия для ментов в отставке, которым уже все равно, что нюхать – кокаин или нафталин.

Теперь эта поэзия превратилась в угли размером с мою голову и черные хлопья, которые кружились в воздухе, как снег, который забыл, что он белый. Как я забыл, что такое страх.

Я медленно, очень медленно повернул голову. Шея хрустнула тремя позвонками подряд – мышцы затекли от трехчасового стояния на одном месте, от наблюдения за тем, как горит твое будущее. Два моих человека стояли справа, еще трое слева. Молчали. Мертвая тишина, которую нарушал только треск горящих досок и далекий

вой полицейской сирены – там, в городе, у них своя жизнь, свои трупы, свои пожары. Сюда они не сунутся. У них есть приказ: территория Ильи Архипова – заповедник, в который лучше не соваться без бронепоезда и благословения папы римского.

Мои люди знали: когда я молчу дольше минуты, лучше не дышать вообще и не моргать слишком громко. За моей спиной чадили два сгоревших грузовика – «Вольво» с прицепами, новые, взятые в лизинг на подставную фирму. Водители – мальчишки, двадцать и двадцать два года, Серега и Колян. Один в прошлом месяце дочку родил, другой собирался жениться на медсестре из областной больницы. Теперь они лежали в морге с простреленными затылками. Не я их убил. Это тронуло бы меня, если бы я не научился не трогаться ни за что, кроме собственной выгоды.

Но я отвечаю за своих. Это не сантименты. Это закон джунглей, который я выучил раньше, чем таблицу умножения: если ты вожак, то кровь каждого твоего волка – на твоих руках. И когда кто-то убивает моих, я должен убить того, кто это сделал. Не потому что мне жаль. А потому что иначе меня сожрут. Без жалости. Без права на ошибку.

Я сжал левую руку в кулак – костяшки хрустнули. Правая уже лежала на рукоятке «Глока» за поясом, хотя стрелять здесь было не в кого. Только в память, которая уже рисовала лица убийц.

– Палыч, – тихо сказал я.

Палыч – мой начальник разведки, бывший опер, выгнанный из органов за излишнюю жестокость. Ему под пятьдесят, лысый, с вечной щетиной и глазами, которые видели столько дерьма, что из них можно было бы удобрять целые поля. Он шагнул вперед, бесшумно ступая по горелой земле. В левой руке – планшет с тепловизором, в правой – сигарета, которую он так и не закурил, потому что знал: я не курю и не люблю запах табака там, где пахнет моим товаром.

– Никого, Илья, – сказал Палыч. – Только наш хмель и два трупа

водил. И следы шин «Тойоты Камри» – уходили на юго-восток. Две оси, резина «Бриджстоун» свежая, протектор почти не стертый. Машина ушла быстрее, чем приехала. – Он помолчал, потом добавил, как нож в сердце: – С тепляка видно, как они подъехали за двадцать минут до возгорания. Трое. Двое зашли внутрь, один остался водилой. Через десять минут вышли. Еще через пять – пожар.

Я кивнул. Нижняя челюсть свела судорогой – я сжал зубы так, что заныли корни. Юго-восток. Это в сторону ЖБИ-3, а через него – прямая дорога до промзоны, а за промзоной – бетонка, а за бетонкой – элитный коттеджный поселок с пафосным названием «Хмелевая долина».

А там, в самом конце улицы Кленовой, стоял двухэтажный особняк из красного кирпича с белыми колоннами и коваными воротами, на которых узором вился хмель.

Офис Сергея Верещагина.

Домашний офис. Потому что Верещагин был из тех, кто предпочитал работать, не вылезая из халата. И спать – тоже не вылезая из него, потому что его толстое, обвисшее тело нуждалось в постоянном укутывании, как растение в парнике.

Сергей Верещагин. Партнер. Отец той девушки, которую я еще не знал, но которая уже стояла у меня в ребрах, хотя я даже не видел ее лица. Которая сейчас, возможно, спала под одеялом с зайчиками или пила чай с мятой в шелковой пижаме – и понятия не имела, что ее папочка только что подписал смертный приговор не только своему бизнесу, но и, возможно, ей самой.

Странно.

Я провел кончиком языка по верхней губе – соленый привкус. То ли кровь (лопнул сосуд от напряжения), то ли пот. Я никогда не верил в судьбу, в знаки, в ту самую «встречу», после которой все меняется. Встретил двадцать семь лет – прожил двадцать семь лет как нож: холодный, острый, без жалости, без ручки, чтобы было удобно держать. Режущая кромка без компромиссов. Отец умер,

когда мне было пять – застрелили на рынке за передел территории. Я помнил его лицо только по одной фотографии: он стоял у старого «Москвича», хмель вился по забору, и отец улыбался той улыбкой, которую я никогда не видел вживую. Мать сдала меня в интернат в восемь, сказав на прощание, глядя в сторону, а не в глаза: «Ты похож на него. Я не выведу. Прости».

Я не плакал. Я вообще не плакал с тех пор, как в двенадцать лет впервые ударил воспитателя ножом для бумаги в бедро – за то, что тот ударил меня первым. Тренажерный зал интерната, запах пота и хлорки, воспитатель Палыч – нет, не мой Палыч, другой, однофамилец – который орал на меня за то, что я не заправил койку. Я ударил не со зла. Я ударил от отчаяния, которое за годы превратилось в броню. Нож вошел легко, как в масло. Крови было много. Я не испугался. Я почувствовал только холодное удовлетворение.

Интернат, улица, первые «заказы» в шестнадцать (разобрать должника, который задолжал местному авторитету Ключке – просто переломать пальцы и выбить передние зубы, чтобы стыдно было улыбаться), своя бригада в двадцать, своя империя к двадцати пяти. Империя, которую сейчас пытались сжечь дотла.

Я сделал шаг вперед по хрустящему пеплу, и ботинок – тяжелый «Гриндс» с металлическим носком – захрустел по спекшимся шишкам хмеля. Они горели странно – не как дерево, не как трава, а как что-то живое, что умирает в муках. С треском, с маслянистым дымом, который лез в легкие и заставлял кашлять, но при этом опьянял. Каждая шишка при сгорании выделяла лупулин – ту самую горькую смолу, которая делает хмель хмелем. Лупулин оседал на языке, на нёбе, на стенках горла, и через двадцать минут дыхания этим дымом ты начинал чувствовать легкое головокружение, как от двух рюмок водки на пустой желудок.

Горелый хмель – это не просто запах. Это горечь, доведенная до абсолюта. Это вкус предательства, если бы предательство можно было попробовать на язык. И сейчас я пробовал.

Смаковал.

Ибо я знал, кто это сделал. Я знал это с той секунды, как Палыч сказал «юго-восток». Я знал это всей своей шкурой, всем своим опытом, каждой царапиной на спине – а их было много, и каждая рассказывала свою историю о том, что никому нельзя верить. Кроме себя. И иногда – Палычу, но Палыч проверен годами и двумя пулями, которые он поймал на меня в Воронеже в 2018-м.

– Кто конкретно, Палыч? – спросил я, не повышая голоса. Тихий голос у меня опаснее крика. Криком орут те, кто не уверен в своей силе. Тишина – удел тех, кто может раздавить голосовыми связками.

Палыч вздохнул. Этот вздох был длиннее, чем обычно. Он знал, что я не люблю, когда новости подаются с паузами.

– Серега Верещагин, Илья. С вероятностью девяносто семь процентов. – Палыч ткнул пальцем в планшет. – Его люди брали этот склад на карандаш месяц. Я нашел метки – они приезжали четыре раза, всегда в разное время, всегда новая тачка. Засекли график смены охраны. Водилы наши – Серега и Колян – взяли взятку с самого Верещагина. Я нашел распечатку перевода: двадцать штук баксов на криптокошелек, зарегистрированный на подставное лицо в Эстонии. А оттуда уже пошли переливы на счета, которыми пользуется личный помощник Верещагина – Колян Беленький, тридцать два года, судим за мошенничество, сидел два года в тверском СИЗО. – Палыч захлопнул планшет. – Верещагин хотел убрать конкуренцию на хмелевой линии. Он не знал, что мы везем не только хмель. Думал, просто уничтожит товар, поднимет цены, а потом предложит тебе «дружескую скидку» на свой хмель. Классическая схема кидалы.

Я кивнул. Классическая. Значит, Верещагин решил, что стар стал, жирен и может диктовать условия. Забыл, кто вытащил его из говна в 2015-м, когда его прошлые партнеры – люди Шаповалова – хотели закопать его в прямом смысле на лесопилке. Я тогда рисковал своей шеей, своими людьми, своими деньгами. Я выкупил

его долги. Я познакомил его с нужными людьми. Я сделал из него того, кто он есть сейчас – уважаемый предприниматель, владелец трех пивоварен и сеть магазинов «Хмельной погребок».

И он решил, что я – это ступенька, по которой можно подняться и пнуть.

Я засмеялся. Тихо, без улыбки. Звук, похожий на то, как ломается лед под ногами перед тем, как уйти под воду с головой. В горле запершило от смеси дыма и желчи.

– Палыч, через час я хочу знать, где он спит сегодня. Кровать, простыни, поза. Сколько храпов в минуту. И где держит запасной ключ от сейфа.

– Он у себя в доме. Но есть нюанс, – Палыч замялся. Он редко мялся. Обычно говорил как отрезал: быстро, сухо, без эпитетов. Но сейчас мялся, и это мне не нравилось. Хуже, чем пожар. Хуже, чем трупы водил. – К нему сегодня приехала дочь. Полина Верещагина. Двадцать три года. Живет с матерью в Питере с самого развода – это было пять лет назад. Верещагин не видел ее все это время. Она училась на дизайнера интерьеров в художественном училище, потом бросила, сейчас работает в какой-то кофейне на Невском. Сегодня в семь вечера приземлилась во Внуково. Отец встречал ее сам – мы это засняли на камеры наблюдения у терминала.

Палыч протянул мне планшет. На экране – статичная картинка с камеры аэропорта. Сергей Верещагин, в расстегнутом пальто, с букетом бордовых роз, обнимает девушку. Она стоит к камере спиной, но видно длинные волосы – до лопаток, чуть выющиеся на концах. И цвет волос... Я приблизил картинку.

Рыжие.

Не крашенные – такие рыжие бывают только у тех, в ком горит осень. Не огненно-красные, не медно-коричневые, а именно рыжие, как хмелевые шишки в тот самый момент, когда они поспевают – золотистые, с медным отливом и легкой зеленцой у корней. Волосы, которые нельзя не заметить. Волосы, которые заставляют вспом-

нить, что ты не просто зверь, а зверь с памятью о чем-то теплом.

Я отключил картинку.

Почему-то это слово – «дочь» – ударило меня под дых сильнее, чем новость о пожаре. У меня не было детей. Я не хотел детей – они делают мужчину мягким, привязывают к месту, заставляют думать о будущем, а в моем деле думать о будущем – это первый шаг к могиле. Но слово «дочь» в контексте человека, которого я собирался либо убить, либо покалечить так, что он молил бы о смерти, вызвало во мне не жалость. Жалость я выжег каленым железом еще в интернате, когда понял, что жалеть – это позволять себя бить.

Другое.

Любопытство. Острое, непривычное, как боль в зубе, который не болел никогда. И еще что-то – липкое, горячее, что разливалось по венам не от пожара. Я не умел называть чувства. Я их или подавлял, или уничтожал. Но это чувство не подавлялось. Оно росло, пускало корни, как тот самый дикий хмель, который разрывает асфальт, если его не вырвать вовремя.

– Фотку дай, – сказал я.

Палыч удивленно поднял бровь, но послушно открыл другую фотографию – на этот раз не с камеры наблюдения, а с городского канала в аэропорту, где девушка шла к выходу одна. Лицо крупным планом.

И я впервые увидел Полину Верещагину.

Она была не красивой в том смысле, который вкладывают в это слово мужчины, привыкшие покупать женщин. В ней не было той кукольной сладости, той глянцевої гладкости, которая продается в салонах пластической хирургии за копейки. В ней была красота опасная, дикая, как тот самый хмель, который вьется там, где его не ждут.

Бледная кожа, как будто она не видела солнца несколько месяцев – или, наоборот, видела слишком много и выгорела до пергамен-

тной прозрачности. Скулы острые – можно порезаться. Глаза... я приблизил картинку. Глаза были серо-зеленые, с крапинками, как мрамор, как старая река, в которой отражаются хмельные берега. И что самое главное – она смотрела в камеру. Прямо. Не отвела взгляд, не улыбнулась виновато, не спрятала глаза за челкой. Она смотрела так, будто говорила: «Я знаю, что ты там, за объективом. Я знаю, что ты меня видишь. И мне плевать».

Без страха. Без той женской привычки улыбаться или отводить глаза, которую я ненавидел больше всего. Женщины, которые боятся, скучны. Женщины, которые играют в смелость – еще скучнее. Эта была настоящей. И это было опаснее всего.

– Зовут Полина, – тихо сказал Палыч, видя, что я молчу слишком долго. – На мать похожа. Вот, глянь.

Я закрыл телефон.

В груди заворчалось то самое – липкое, горячее, неуместное. Я принял это за гнев. Решил, что это от дыма. Решил, что это от усталости – два часа без сна, тридцать шесть часов без нормальной еды, только жидкий кофе из термоса и сухой паек. Решил, что это адреналин после пожара.

Я ошибся.

Я ошибся так, как не ошибался ни разу в жизни. Как человек, который идет по минному полю, уверенный, что знает все мины, а потом наступает на ту, которую заложил сам себе.

– Верещагин – мой, – сказал я, выпрямляясь во весь рост. Спина хрустнула позвонками, как сухой хмелевой стебель под ногами. – Остальные – по периметру. Внешнее кольцо – на выездах из поселка, внутреннее – у дома Верещагина. Никто не входит, никто не выходит. Я еду к нему один.

– Илья... – начал Палыч.

– Один, мать твою. – Я не повысил голос, но в нем появилось то самое – вибрация стали перед ударом. – Он мой лично. И дочь его – тоже.